ОТЕЛЬ «БЕЛАЯ СОСНА»

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ГОСТЕЙ

БЕЛАЯ СОСНА

Әсем Әбдрашіт

Игроков:



СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

18+

Әсем Әбдрашіт

Белая сосна

«Автор»
2026

Әбдрашіт Ә.

Белая сосна / Ә. Әбдрашіт — «Автор», 2026

Пятеро друзей едут на выходные в горы, в старый санаторий «Белая сосна», который закрыт уже десять лет. Но в холле горит люстра, а старик за стойкой вписывает их имена в книгу перьевой ручкой. К утру трое парней мертвы, одна девушка поседела, а вторая рассказывает об этой ночи всё. Кроме единственного, что имеет значение.Отель судит не за то, что ты сделал. А за то, что ты услышал — и сделал вид, что нет.18+

© Әбдрашіт Ә., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Протокол 5
Часть I 7
Глава 1. Лейла 7
Глава 2. Самат Ахметович 10
Глава 3. Тимур 13
Глава 4. Лейла 16
Глава 5. Арман 19
Глава 6. Ерлан 22
Глава 7. Дана 25
Часть II 27
Глава 8. Лейла 27
Глава 9. Бекетов 29
Конец ознакомительного фрагмента. 32

Әсем Әбдрашіт
Белая сосна

Отель судит не за то, что ты сделал. А за то, что ты услышал — и сделал вид, что нет.
Галия Сарсенова

Пролог. Протокол

Из протокола допроса свидетеля. Расшифровка аудиозаписи. Допрос проводится в палате №7 травматологического отделения районной больницы в присутствии лечащего врача. Допрашиваемая: Нурланова Лейла Ержановна, 2004 г.р. Допрашивает: старший следователь Бекетов Н.С.

БЕКЕТОВ: Вы понимаете, что идёт запись?

НУРЛАНОВА: Да.

БЕКЕТОВ: Вам не больно говорить?

НУРЛАНОВА: Мне больно дышать. Говорить нормально.

БЕКЕТОВ: Хорошо. Расскажите, как вы оказались в здании бывшего отеля «Белая сосна».

НУРЛАНОВА: Мы приехали отдохнуть. На выходные. Ерлан забронировал.

БЕКЕТОВ: Отель закрыт с декабря две тысячи шестнадцатого года.

НУРЛАНОВА: Я знаю. Вы уже говорили.

БЕКЕТОВ: И вас на месте кто-то заселил.

НУРЛАНОВА: Регистратор. Пожилой мужчина в зелёном жилете. Вы же его нашли. За стойкой.

БЕКЕТОВ: Мы нашли тело мужчины, который, по предварительным данным, умер не меньше месяца назад.

(Пауза. Около 10 секунд.)

НУРЛАНОВА: Можно воды?

(Звук наливаемой воды.)

БЕКЕТОВ: Сейткали Дана Руслановна. Кем она вам приходится?

НУРЛАНОВА: Подруга. Мы с первого класса. Где она?

БЕКЕТОВ: Я хотел спросить у вас то же самое.

НУРЛАНОВА: Она была в соседней палате. У неё сломана нога, она не могла никуда уйти.

БЕКЕТОВ: Тем не менее, в палате её нет. Лейла, скажите честно. В каких отношениях Дана была с Жаксыбековым?

НУРЛАНОВА: С Тимуром? Ни в каких.

БЕКЕТОВ: Почему вы отвели взгляд?

НУРЛАНОВА: Потому что вы спрашиваете так, будто уже знаете ответ.

БЕКЕТОВ: Я не знаю. Поэтому и спрашиваю.

НУРЛАНОВА: Дана никого не трогала. Запишите так. Она вообще не такой человек. Даже после того, что они с ней сделали, она никому ничего не сделала бы.

БЕКЕТОВ: Что они с ней сделали?

(Пауза. Около 30 секунд.)

БЕКЕТОВ: Лейла. Что они с ней сделали?

НУРЛАНОВА: Я не буду про неё говорить. Это её история. Я обещала никому не говорить.

БЕКЕТОВ: Три человека мертвы.

НУРЛАНОВА: Да. Я знаю. Я их видела.

БЕКЕТОВ: Тогда помогите мне. В какой момент вы потеряли Дану из виду в первую ночь?

НУРЛАНОВА: Я спала.

БЕКЕТОВ: Дана тоже спала?

НУРЛАНОВА: Я не знаю. Когда я проснулась, она была в кровати. Лежала лицом к стене. У неё были мокрые волосы. Я ещё подумала — зачем мыть голову в три часа ночи.

(Пауза.)

НУРЛАНОВА: Нет. Вычеркните. Мне показалось. Там было темно.

БЕКЕТОВ: Из аудиозаписи нельзя ничего вычеркнуть, Лейла.

НУРЛАНОВА: Тогда запишите ещё раз. Дана. Никого. Не трогала.

(Врач просит прервать допрос. У допрашиваемой поднялось давление. Допрос приостановлен в 11:42.)

(Пометка следователя на полях, от руки: «Волосы мокрые — хлорка? Проверить душевую 314. Выпила три стакана воды за 20 минут».)

Часть I
Заселение

Глава 1. Лейла

Я хочу сразу сказать одну вещь, чтобы потом к ней не возвращаться: я любила Дану. Люблю. Всё, что будет дальше, нужно читать с этим в голове. Даже те куски, где покажется, что я на неё наговариваю. Я не наговариваю. Я просто рассказываю, как было.

Мы выехали из Алматы в пятницу, в половине пятого. Ерлан вёл свою серую «Камри», Тимур сидел спереди и переключал музыку, не дослушивая ни одного трека до припева. Мы трое — я, Дана и Арман — сложились на заднем сиденье. Арман сел посередине, хотя он самый длинный, и всю дорогу его колени упирались в подлокотник. Я предложила поменяться. Он сказал, что ему и так нормально. Арману всегда было нормально там, где он сидел между двумя девушками.

Дана сидела справа, у окна, и смотрела на горы. На ней была белая футболка с розовой надписью «не сегодня» — маленькими буквами, прямо над сердцем. Её самая любимая. Я подарила ей её на двадцатилетие, потому что у нас была такая шутка: каждый раз, когда жизнь заносила над нами руку, мы говорили ей: «не сегодня». Перед контрольной по химии. Перед разговором с её отцом. Перед тем днём, когда мою маму увезли.

Мама у меня давно в санатории. Это не очень важно для истории. Я просто пишу всё подряд.

За Капчагаем навигатор свернул нас с трассы на грунтовку, и началась та дорога, на которой Арман решил, что нас везут закапывать. Он долго и смачно придумывал, кто из нас какую яму будет копать, и когда дошёл до Даны, сказал:

— А Дана не будет копать. Дана будет лежать. Дана у нас любит полежать.

Тимур спереди заржал. Ерлан сказал «Арман» тем тоном, каким говорят с собакой, которая стащила со стола колбасу, но которую никто не собирается наказывать. Дана улыбнулась окну. А у меня во рту стало сухо.

Я попросила воды. Ерлан кинул назад бутылку. Я выпила половину сразу, и Арман сказал, что я пью как лошадь, и я сказала, что лучше лошадь, чем осёл. Никто не засмеялся. Вроде было смешно, а вроде и нет.

В салонном зеркале я поймала взгляд Ерлана. Он смотрел не на дорогу, а на заднее сиденье. На Дану. Недолго, тяжело, с каким-то таким выражением, как будто он считал сдачу и понимал, что его обсчитали. Потом он перевёл взгляд на меня. Я отвернулась к окну.

Я вообще не люблю зеркала. Это тоже не важно.

Стемнело в ноябре рано. К семи за окнами не было видно ничего, кроме степи, которая постепенно превратилась в сосны. Я не знала, что там растут сосны. Я не знала, что в нашей области вообще есть такие леса — высокие, тёмные, посаженные ровными рядами, как на кладбище. Потом следователь скажет мне, что это лесопосадки семидесятых, что их сажали как защиту от пыльных бурь, что в них нет ничего странного. Но в ту пятницу они стояли вдоль дороги плечом к плечу и смотрели на нашу машину, как смотрят на тех, кто опаздывает на похороны.

— Смотрите, — сказала Дана. Это было первое слово, которое она произнесла за час.

На обочине стоял указатель. Старый, жестяной, с выцветшей краской: «Отель БЕЛАЯ СОСНА — 2 км». Под надписью была нарисована сосна — когда-то белая, а теперь серая с

рыжими потёками. Кто-то приписал снизу чёрным маркером одно слово, но фары скользнули мимо раньше, чем я успела прочитать.

— Красиво, — сказал Тимур. — Как в фильмах ужасов. Ерлан, ты куда нас привёз? Признавайся, ты маньяк?

— Ты же сам хотел потише, — сказал Ерлан. — Чтобы никого вокруг.

Тимур обернулся на нас. Посмотрел на Дану — не на лицо, ниже, на розовую надпись. Улыбнулся.

— Да, — сказал он. — Чтобы никого вокруг. Ладно. Уважаю.

Я потом сто раз прокручивала эту фразу в голове. Лежа в больнице, на допросах, дома ночью. «Уважаю». Как будто Ерлан оказал ему услугу. И каждый раз мне кажется, что именно в эту секунду Дана перестала улыбаться окну. Но честно — я не помню. Я смотрела на Тимура.

Отель появился внезапно, как появляется человек из-за угла: только что был лес — и вот уже перед нами пятиэтажная стена из светлого кирпича, стеклянный козырёк над входом, и во всех окнах — жёлтый свет. Во всех. Я запомнила это очень точно, потому что Ерлан же сказал, что в межсезонье там почти пусто. А свет горел везде, даже на пятом этаже, даже в маленьких окошках под крышей. Как будто нас ждали и всё включили для нас.

Потом следователь скажет, что в здании нет электричества с десятого года — простите, с шестнадцатого, я путаюсь в цифрах. Что кабель срезали на медь ещё лет девять назад. Я кивнула. Что ещё мне было делать.

В холле пахло воском и перезревшими яблоками. Пол был из красного дерева — или так мне казалось — и так натёрт, что в нём отражалась люстра. Я старалась не смотреть вниз. Люстра горела на половину: из двенадцати рожков — шесть, через один, как зубы у расчёски, которой расчёсывали что-то слишком густое. На стене висел гобелен с охотой: всадники, собаки, и где-то в левом углу — олень, у которого уже не было глаз. Нитки там просто вытерлись. Каждый, кто стоял у стойки, смотрел именно в то место.

За стойкой сидел он.

Я описывала его следователю три раза, и каждый раз тот записывал и смотрел на меня так, будто я описываю ему его собственного отца. Пожилой. Сухой. Седые волосы зачёсаны назад так гладко, что видны следы зубьев расчёски. Белая рубашка, тёмно-зелёный жилет с латунными пуговицами. На лацкане — бейдж, имя на котором стёрлось до одной буквы: «С». Руки лежали на стойке параллельно, ровно, как у пианиста перед первым аккордом.

И улыбка. Обычная служебная улыбка. Такие выдают вместе с формой и забирают вместе с трудовой.

— Добрый вечер, — сказал он. Голос у него был низкий и немного сиплый, как у человека, который давно ни с кем не разговаривал. — Бронь на чьё имя?

— Абдрахманов, — сказал Ерлан. — Три номера, на две ночи.

Регистратор открыл книгу. Толстую, в бордовом переплёте, с теснёным золотым номером на корешке. Таких книг не бывает в отелях с сайтом и онлайн-бронированием, но тогда никто из нас не стал о таком думать. Мы устали, мы хотели вина, Арман хотел в туалет.

Он записывал нас перьевой ручкой. Чернила были тёмные, почти коричневые, и пахли железом. Дана протянула удостоверение первой. Затем Тимур — он стоял сразу за ней, слишком близко, подбородком почти у её макушки. Затем Арман, затем Ерлан. Регистратор записывал каждое имя не торопясь, словно выводил его на надгробии. Он ни разу не поднял глаз.

Потом я протянула своё удостоверение.

Он взял его. Положил перед собой. Перо застыло над страницей, и с него сорвалась капля — на странице после имени Ерлана расплылось рыжее пятно. А он так и не написал моё имя.

Он поднял глаза.

У него были очень светлые глаза, водянистые, как разбавленное молоко. И в них произошло что-то такое, что я до сих пор не могу описать так, чтобы следователь понял. Он не

испугался. Не удивился. Он посмотрел на меня так, как смотрит старик на перроне на поезд, который опаздывал десять лет. Плечи у него опустились. Уголки губ дрогнули. И служебная улыбка вдруг стала настоящей — мягкой, усталой, бесконечно благодарной.

— Добро пожаловать, — сказал он. Мне. Не нам. Совершенно точно мне.

Он вернул мне удостоверение. Потом снял с доски за спиной ключ — не пластиковую карту, а настоящий латунный ключ с тяжёлой деревянной грушей — и положил мне в ладонь. Сам. Зажал мои пальцы своими. Пальцы у него были такие холодные, что меня пробило до локтя, и они дрожали — мелко, непрерывно, как провод под током.

— Триста четырнадцатый, — сказал он. — Он вам подойдёт.

И чуть тише, так, что услышала только я:

— Вы всё сделаете правильно. Вы же её дочь.

Я не поняла, что он имел в виду. Я решила, что ослышалась. В холле гудела вентиляция, Арман громко спрашивал, есть ли здесь вайфай, и регистратор уже отвечал ему — обычным служебным голосом, с обычной служебной улыбкой.

В лифте Дана взяла меня под руку.

— Чё он на тебя так смотрел?

— Влюбился, — сказала я. — Возраст любви не помеха.

Она фыркнула. Это был первый раз за весь день, когда она фыркнула по-настоящему, и я запомнила это, потому что потом она больше никогда так не фыркала.

Двери лифта стали сдвигаться. В узкой щели между ними я увидела холл и стойку. Регистратор стоял и смотрел нам вслед. Он больше не улыбался. Он расстёгивал жилет — пуговицу за пуговицей, медленно, аккуратно, как расстёгивают то, что больше никогда не наденут.

Двери сомкнулись. В лифте было зеркало в полный рост. Я смотрела на кнопки.

Ключ в моей ладони был тёплым. Не от моей руки. Он был тёплым сам по себе, как вещь, которую долго-долго держали в руке и наконец отпустили.

И мне опять хотелось пить.

Глава 2. Самат Ахметович

Десять лет — это три тысячи семьсот сорок два дня. С двумя високосными годами — три тысячи семьсот сорок два, не сорок. Самат Ахметович знал это точно, потому что считал их по пальцам. Все три тысячи семьсот сорок два. Календаря за стойкой не было. Были пальцы и был свет в окне холла: серый — новый день, чёрный — новая ночь.

Уставать он не уставал. Для этого нужно тело, а тело своё он давно сложил под стойкой, как складывают запасной плед. Иногда он слышал, как оно там потрескивает на морозе. Иногда приходили крысы и уходили сытыми. Он не сердился. Он вообще давно разучился сердиться. В самом начале, в первую зиму, он ещё кричал — и слушал, как крик уходит в коридоры и возвращается к нему чужими голосами. Голосами тех четверых, что остались в здании вместе с ним. После этого он перестал кричать.

Раньше, когда он был жив, его звали просто Самат-ага. Ночной администратор отеля «Белая сосна», тридцать лет стажа, вдовец, два сына в Астане, грамота от акимата за добросовестный труд. Он умел не слышать. Это было главное качество хорошего ночного администратора, так учил его ещё старый директор в восьмидесятых: не слышать, что происходит в номерах. Гость платит за тишину, и часть тишины — это ты.

И Самат-ага не слышал. Тридцать лет. Не слышал, как в девяносто четвёртом в двести десятом плакала девочка из обслуги, а потом перестала. Не слышал, как в нулевых в триста четырнадцатом били женщину — долго, методично, с перерывами на сигарету. Не слышал ту ноябрьскую ночь в две тысячи шестнадцатом, когда четверо мужчин из двадцать второго и двадцать третьего номеров кричали так, как сам он потом кричал в первую зиму.

Не слышал — пока не пришла она и не сказала ему в голове: **игроков пять**.

Её звали Галия. Ей было тридцать два года, и она приехала с четырьмя мужчинами на белом «Ленд Крузере» с астанинскими номерами. Один из них был её мужем. Двое были его друзьями. Четвёртый был его братом. А в машине на стоянке сидела девочка лет двенадцати, с двумя чёрными косичками, и читала книгу при свете фонарика. Её в отель не взяли. Ей велели спать в машине. Самат-ага один раз вышел покурить и постучал в стекло, предложил чаю из термоса. Девочка посмотрела на него сквозь стекло и покачала головой. И показала на бутылку воды у себя на коленях — пустую. Он принёс ей новую. Она выпила её при нём, не отрываясь, как пьют зимой собаки из проруби.

Самат-ага видел тогда глаза Галии, когда она расписывалась в книге. У неё была рассечена бровь, замазанная тональным кремом, и у неё были спокойные глаза. Слишком спокойные. Такие глаза бывают у людей, в которых кто-то другой уже принял решение за них.

И ещё она выпила всю воду из графина на стойке. Весь графин, литр с лимоном, пока муж искал паспорт.

Теперь, через десять лет, Самат Ахметович знал правила. Их не объясняют — их узнают, как узнают правила вашего собственного тела. Отелю не нужны гости. Отелю нужен суд. Долго, много лет в его стены впитывалось то, чего никто не слышал, и однажды стены переполнились. Теперь раз в несколько лет сюда приходит человек, в котором слышно то же самое. Тот, кто тоже долго не слышал, молчал, складывал. И отель даёт ему ключ.

Регистратор записывает игроков. Правила придумывает не она — не он, разумеется, но самат давно думал про регистратора «она», с той самой ночи. Правила приходят из стен. Каждому игроку — своя смерть, по той мере, какой он мерил. В конце — прятки. Тот, кто не спрячется, берёт ключ и садится за стойку. И ждёт. Сколько понадобится.

В две тысячи шестнадцатом не спрятался он. Он даже не пытался. Он стоял в подсобке с сигаретой, слушал, как счёт доходит до нуля, и думал только одно: если не слышать, то всё обойдётся. Тридцать лет ведь обходилось.

Галия пришла за ним на рассвете. Босиком, в мужской рубашке, надетой наизнанку. От неё пахло хлоркой так, что у Самата слезились глаза. Она сняла со своей шеи ключ на шнурке — латунный, с деревянной грушей, триста четырнадцатый — и положила ему в ладонь.

— Спасибо, — сказала она. И ещё: — Когда она вернётся, ты её узнаешь. Не отдавай никому другому.

Кто «она», Галия не сказала. Она вышла на стоянку, села за руль белого «Ленд Крузера», и машина уехала. Девочка с косичками на заднем сиденье прижалась лбом к стеклу и смотрела на отель, пока не скрылась за соснами. Самат сложил своё тело под стойку в тот же день. А через месяц отель закрыли.

Люди приходили и потом. Мародёры за кабелем. Подростки с баллончиками. Парочки, искавшие место потише. Один раз — спиритистка с камерой, которая долго спрашивала в пустоту, есть ли тут кто-нибудь, и Самат с удовольствием ей не ответил. Никто из них не видел света в окнах. Никто не видел его. Он для них не зажигался. Он зажигался только для неё.

И вот сегодня, в три тысячи семьсот сорок два дня, на дороге показались фары.

Он почувствовал их раньше, чем увидел. Здание вздохнуло — иначе не скажешь. Везде вспыхнул свет. Пыль слетела с люстры и легла обратно в чехлы кресел. Пол натёрся сам собой. Рубашка на нём стала белой, жилет потемнел, руки легли на стойку параллельно. И он почувствовал то, чего не чувствовал десять лет: страх. Вдруг не она. Вдруг опять не она, и они уедут, и свет погаснет, и снова начнётся счёт на пальцах.

Их было пятеро.

Первой к стойке подошла девочка в белой футболке. Чёрные волосы, тонкие запястья. На груди маленькими розовыми буквами было написано: «не сегодня». Самат прочитал и подумал: сегодня. Она протянула ему удостоверение, и рука у неё дрожала — не от страха, а так, как дрожит перетянутая струна. За её спиной стоял парень и дышал ей в макушку.

Её удостоверение Самат отложил в сторону, не раскрывая. Сначала — парня сзади, и перо само надавило сильнее, чем нужно, и прорвало бумагу на первой букве имени. Тимур. Потом длинного, смешливого, с телефоном в руке — телефон пах самым грязным из всего, что было в холле. Потом старшего, с ключами от машины, вежливого, спокойного. Этот был самым похожим на него. Этот тоже умел не слышать. Самат записал его и почувствовал что-то вроде жалости. Или родства.

Три имени. На стойке остались два удостоверения и две девочки, и одно из удостоверений было лишним.

Он взял одно, раскрыл, и перо в его пальцах остановилось само.

Он не стал читать имя. Имена ничего не значат — имена дают родители, а люди потом вырастают из них, как из детской одежды. Он поднял глаза. Они стояли рядом, плечом к плечу, обе черноволосые, обе бледные с дороги, и он посмотрел в лицо той, чьё удостоверение держал.

Девочка лет двенадцати, с двумя чёрными косичками, прижавшаяся лбом к стеклу. Десять лет не важны. Глаза не вырастают из себя. В глазах было то же спокойствие, что у Галии. Спокойствие человека, за которого уже всё решили. Она стояла перед ним, не моргая, и что-то в ней — очень глубоко, под всеми слоями — уже прислушивалось к стенам, как собака прислушивается к шагам хозяина за дверью.

Самат Ахметович почувствовал, как десять лет сползают с его плеч тяжёлым мокрым пальто.

Этого имени он в книгу не вписал. Регистратор не записывает регистратора. Второе вписал четвёртым, аккуратно, как вписывают свидетеля.

Он снял с доски ключ, вложил ей в ладонь и зажал её пальцы. Они были горячие. После десяти лет холода они показались ему обжигающими.

И он сказал ей правду — единственную правду, которую знал:

— Вы всё сделаете правильно. Вы же её дочь.

Потом длинный спросил про вайфай, и Самат сказал, что пароль на карточке в номере, и это было смешно, потому что никакого вайфая здесь никогда не было. Они ушли к лифту. Девочка в белой футболке взяла под руку ту, другую. Самат подумал, что это правильно. На суде всегда нужен свидетель.

Он расстегнул жилет. Сложил его вчетверо, как учили в армии, и положил на стойку — для следующего. И впервые за десять лет стал слушать.

Над ним, на третьем этаже, в триста четырнадцатом, зашумела вода. Кто-то открыл кран и пил — долго, жадно, не отрываясь.

Глава 3. Тимур

В марте ничего не было. Тимур знал это твёрдо, как свой номер телефона, потому что повторил его себе столько раз, что фраза стёрлась, как стирается подошва, и стала гладкой. Ничего не было. Был день рождения Армана, была дача в Талгаре, была водка с клюквенным морсом, которую девчонки пили как сок. И была Дана, которая весь вечер смеялась его шуткам.

Она же смеялась. Она же сама села рядом. Она же сама сказала, что у него красивые руки. Скажите ему, что значит «у тебя красивые руки» в час ночи на даче, если не то, что он подумал.

Потом она пошла наверх, в спальню Арманової сестры, чтобы переодеться, потому что кто-то облил её кофту. И он пошёл следом. Как в кино. В кино так всегда: она уходит, он идёт за ней, дверь закрывается, и никто не задаёт вопросов. А то, что она потом стала вырываться, — так девчонки всегда делают вид, чтобы не считались дешёвыми. Так ему объяснил ещё в девятом классе старший брат, и брат ни разу не ошибся.

Она расцарапала ему шею. Три полоски ниже уха, они зажили через неделю. Она ударила его коленом — не туда, куда целила, в бедро, но он всё равно разжал руки от неожиданности, и она выскочила в коридор. В коридоре стоял Арман с телефоном и ржал. Потом Дана бежала по лестнице, а он скакал за ней в одних трусах, и это тоже было смешно, даже сам Тимур потом смеялся, когда смотрел видео. Синий, в трусах, с царапинами. Смешно же.

Ничего не было. Он даже не успел.

Именно это «не успел» и сидело в нём с марта, как заноза, которую не вытащили и она заросла мясом. Он терпеть не мог недоделанного. Недоигранная катка, недосмотренный сериал, недоеденная еда на чужой тарелке — всё это вызывало в нём физическое зудящее чувство, как укус на спине, до которого не достать. А Дана была недоеденной едой на его тарелке. И она ещё и сидела потом все эти месяцы с ними за одним столом в антикафе, и улыбалась, и притворялась, что его нет. Никому ничего не рассказала. И что это значило? Это значило, что ничего страшного не случилось. Если бы случилось страшное, женщины орут на весь свет. А Дана молчала. Значит, она ждала.

Об этом он и сказал Ерлану в октябре, когда тот начал разговор про выезд на природу. Ерлан помолчал, покрутил на пальце кольцо от ключей. Ерлан всегда сначала молчал, потом делал так, как удобнее всем. За это его и любили.

— Сделаю запасной, — сказал он наконец. — Но я ничего не знаю. Понял? У меня ключи всегда пропадают, я рассеянный.

Теперь запасной ключ от триста четырнадцатого лежал у Тимура в заднем кармане джинсов и надавливал на ягодицу каждый раз, когда он садился. И он постоянно о нём помнил. Об этом ключе и о том, что в триста четырнадцатом будут спать две девчонки, одна из которых — его недоеденная еда. А вторая — Лейла.

Про Лейлу Тимур думал неохотно. Она была странная. В школе её называли ведьмой, потому что у неё мать была в дурке — все знали, хотя Лейла говорила «в санатории». Она могла смотреть на человека долго, не моргая, как смотрят на насекомое, которое ползёт по столу и ещё не знает, что сейчас на него опустится стакан. И она всегда была рядом с Даной. Всегда. Как сторожевая собака.

Кроме той ночи в марте. В ту ночь Лейла уехала раньше — в санатории случилось что-то с её матерью, ей позвонили в десять вечера, и она уехала на такси за семь тысяч, белая как стена. А вернулась в два часа. За Даной. Тимур сам не видел, его к тому времени уже рвало в туалете, но Арман рассказал: Лейла вошла, посмотрела на Дану, которая сидела на крыльце в одном ботинке, потом посмотрела на них и ничего не сказала. Вообще ничего. Арман сказал, что лучше бы орала. Что он всю ночь потом не мог уснуть и сидел со светом.

Тимур тогда посмеялся. Арман всегда был ссыклом.

В отеле им достался триста двенадцатый — ему и Арману. Ерлан взял себе отдельный одноместный в конце коридора, сказал, что храпит. Тимур бросил сумку на кровать у окна и пошёл в душ.

В душе было зеркало, и зеркало запотело. Он протёр его ладонью, и на секунду ему показалось, что на шее у него снова три красные полоски. Свежие, с бусинками крови. Он наклонился ближе. Ничего не было. Чистая кожа, старая родинка. Пар и свет, свет и пар.

Но вода в душе была тёплая и пахла хлоркой — сильно, до рези в глазах, как в бассейне сразу после заливки. И сквозь запах хлорки был другой, сладковатый, железный, как в мясном отделе Рахата в субботу вечером. Тимур выключил воду и вышел, не домывшись.

В комнате Арман лежал на кровати и листал телефон.

— Сети нет, — сказал он, не поднимая глаз. — Вайфая нет. На карточке пароль — семь нулей. Ввожу — пишет «сеть не найдена». Дед нас наколол.

— Зачем тебе сеть?

Арман пожал плечами. Потом всё-таки поднял глаза — непривычно серьёзные, без обычной пустой весёлости.

— Тим, — сказал он. — Ты видел, как она на тебя смотрела? В машине. Когда ты сказал «уважаю».

— Кто?

— Лейла.

Тимур сказал, что ему плевать, как на него смотрит Лейла. И это была правда. Но вечером, сидя на полу за «Мафией», он несколько раз ловил на себе её взгляд — и каждый раз у него на шее чесались три полоски, которых не было. Она три раза подряд вытянула ведущего. Ерлан назвал это мухлёжкой. Тимур смотрел, как она объявляет ночь — «город засыпает, просыпается мафия», — и голос у неё был такой ровный, такой спокойный, что у него встали дыбом волоски на руках. Он сидел с закрытыми глазами, как ставили правила, и чувствовал, что она смотрит на него. На него одного.

Поэтому он и сел поближе к Дане. Чтобы что-то тёплое было рядом. Дана отодвинула колено. Он вернул своё. Это игра, подумал он. Это тоже игра, и она знает правила.

В половине первого он сказал, что идёт в туалет. Все заржали про Ерлана. В коридоре было тепло и тихо, лампы гудели, ковровая дорожка глотала шаги. Дверь триста четырнадцатого открылась с первого поворота ключа — легко, как будто его ждали.

В номере пахло их духами. На кровати у окна лежала белая футболка с надписью, а рядом — другая, чёрная, в пятнах вина, скомканная. Он взял белую. Поднёс к лицу. Она пахла не Даной. Он не понял, чем она пахла, — чем-то совсем старым, сухим, как страницы той толстой книги на стойке. Он бросил её обратно.

Ванная была сразу слева от входа. Он зашёл, не включая свет, прикрыл дверь, оставив щёлку в палец, и сел на край ванны. Он умел ждать. Рыбалка с отцом на Капчагае научила его ждать.

И в темноте, в тишине, прислонившись спиной к холодному кафелю, он вдруг услышал то, что не должен был услышать.

В сливе ванной под ним что-то тихо клокотало. Не вода. Гуще. Как будто трубы здания проглатывали что-то и давились. И из слива, из тёмной решётки, еле слышно, как из очень далёкого радио, тихий ровный голос сказал:

Город засыпает.

Тимур замер. Посидел. Сердце колотилось в горле. Потом тихо засмеялся в кулак. Это из триста двенадцатого. Трубы общие, звук идёт по стояку. Они там продолжают играть, и Лейла снова ведущая.

Он не вспомнил, что триста двенадцатый находился на другой стороне коридора.

В два часа десять минут дверь номера открылась. Две пары ног. Шёпот, смешок, скрип кроватей. Выключатель. Темнота. Тимур считал дыхания, как считают поклёвки. Одно стало ровным почти сразу — ровным, глубоким, слишком глубоким, будто человека не усыпили, а выключили. Второе долго ворочалось, вздыхало, один раз тихо всхлипнуло. Потом тоже затихло.

Он выждал ещё полчаса. И встал.

Из щели на кафель падала узкая полоска синего света от уличного фонаря. Тимур притронулся к двери. И прежде чем он успел её толкнуть, полоску света пересекла тень.

Кто-то стоял по ту сторону двери. Стоял и дышал — тихо, ровно, спокойно. Тимур увидел в щели край белой ткани и розовую букву. И прядь чёрных волос.

— Дана? — шепнул он и сам не узнал свой голос.

Дверь начала открываться — медленно, сама, вовнутрь, на него.

И из слива за его спиной тот же ровный, спокойный голос сказал:

Просыпается мафия.

Глава 4. Лейла

Номер триста четырнадцать был таким, какими бывают номера в старых санаториях, куда в детстве возили на «оздоровление». Две кровати с деревянными спинками, тумбочки с круглыми лампами, ковёр в ромбик, тяжёлые шторы цвета засохшей крови. Дана сказала, что цвета вишни. Я спорить не стала. В углу была ниша с маленькой кухней: раковина, электрический чайник, два стакана вверх дном на бумажной салфетке. Я сразу налила себе воды из-под крана.

— Оттуда пить нельзя, — сказала Дана.

— Можно, — сказала я и выпила.

Вода была холодная и пахла железом, как из старого колодца. После неё пить хотелось ещё сильнее.

Дана сняла свою белую футболку с «не сегодня», сложила её и положила на кровать у окна. Надела серую толстовку на два размера больше, с капюшоном, и застегнула молнию до горла. Я знала эту толстовку. Она появилась у неё в апреле и с тех пор надевалась каждый раз, когда рядом были парни. Доспехи. Я ни разу не спросила про неё. Мы с Даной вообще многого друг у друга не спрашивали. Это и была наша дружба: знать и не спрашивать.

— Может, не пойдём? — сказала она, сидя на краю кровати. — Скажем, что устали.

— Тогда они придут сюда.

Она подумала и кивнула. Мы обе знали, что лучше быть на чужой территории с открытой дверью, чем на своей — с закрытой.

У парней в триста двенадцатом уже стоял дым от кальяна, который Арман привёз в багажнике, и пахло дыней и мятой. На полу — плед, на пледе — колода «Мафии», три пачки чипсов, две бутылки красного и одна водки, вокруг которой Василий Тёркин на этикетке смотрел на нас с укором. Арман зажёг свечу. Одну, толстую, церковную — он взял её из дома, из маминого угла с иконками, потому что у него мать русская и набожная. И сразу же задергался, что сработает пожарная сигнализация. Белая пластиковая таблетка на потолке молчала. У неё не горел красный огонёк. Я обратила на это внимание, потому что во всех отелях есть красный огонёк. Это как сердцебиение здания. А тут его не было.

В «Мафии» я вытянула ведущего. Карта была матовая, чёрная, с серебряным ключом посередине. Я не помню, чтобы в нашей колоде ведущий был нарисован ключом. Раньше там был человечек с микрофоном. Но колоду привёз Арман, а Арман вечно покупал что-нибудь на маркетплейсе со скидкой девяносто процентов, так что ничего удивительного.

Я была хорошим ведущим. Это все говорили. У меня ровный голос и я не смеюсь, когда другие смеются. «Город засыпает», — и все закрывают глаза. И в эти секунды, когда все сидят с закрытыми глазами, а ты единственная, кто смотрит, происходит что-то особенное. Ты видишь людей такими, какие они есть. Как они держат руки. Как дёргаются их веки. У кого шевелятся губы. Тимур, если что, подглядывал. Каждую ночь. Он смотрел сквозь ресницы не на мафию. Он смотрел на Дану.

И ещё он чесал шею. Постоянно, ниже левого уха, тремя пальцами.

В половине двенадцатого Арман махнул рукой, доказывая, что Ерлан — мафия с первого кона, и опрокинул на меня бокал. Красное вино на чёрную футболку. Почти не видно, но мокро и липко, и ткань прилипла к животу, как вторая кожа. Арман сказал «сори, сори, сори» с таким лицом, будто ему смешно. Арману всегда было смешно.

Я сходила к себе переодеться. Коридор был пустой и тёплый, дорожка глотала шаги. В номере я стянула футболку через голову, бросила её на кровать, надела то, что попалось под руку, и посмотрела на стакан с водой, который оставила на тумбочке. Выпила. Налила ещё. Меня не было минут десять. Может, пятнадцать.

Когда я вернулась, Ерлан посмотрел на меня долгим взглядом и ничего не сказал.

Потом были страшилки. Арман рассказал про девочку без лица в лифте строительной общаги — каждый раз, когда в лифт заходит парень, она спрашивает его, какой она была на вид, и если он не помнит, она забирает его лицо себе. Это была плохая история, но все замолчали на пару секунд дольше, чем нужно. Ерлан рассказал про невесту на капчагайской трассе. Он рассказывал сухо, как протокол, и вдруг сказал в конце:

— Это не страшилка. У меня дядя был следователем. Он её видел. Ну, то, что осталось, когда её нашли.

— У тебя дядя следователь? — переспросила Дана. Тихо. Я услышала в её голосе то, чего, наверное, не услышал никто другой: надежду. И сразу страх.

— Был, — сказал Ерлан. — Умер в девятнадцатом. Сердце.

И посмотрел на неё. А потом на меня. Снова тем долгим взглядом, с которым он смотрел в салонное зеркало. Я тогда решила, что он пьян.

Тимур страшилок не рассказывал. Он сидел вплотную к Дане и что-то шептал ей в капюшон толстовки. Я не слышала что. Я видела только, что Дана улыбается, а пальцы её правой руки сжаты в кулак так, что ногти вошли в ладонь. Потом, в больнице, я видела у неё на ладони четыре полумесяца. Я об этом никому не сказала. Следователь бы решил, что это от другого.

Когда очередь дошла до меня, я собиралась сказать, что не знаю страшилок. Это правда. Я их не люблю. Мне достаточно того, что я слышу по телефону раз в неделю, когда звоню в санаторий.

Но я открыла рот, и слова пошли сами. Я рассказала про отель, в котором всегда один регистратор. Который не стареет и не уходит домой, потому что ждёт сменщика. Про ключ, который передаётся из рук в руки. Про игру.

Я не знаю, откуда я взяла эту историю. Я её не слышала ни разу в жизни. Хотя нет. Кажется, слышала. Очень давно, по телефону, из санатория, когда мама ещё разговаривала линиями, а не обрывками. Она тогда рассказывала мне сказки. Все сказки были про одно и то же место.

— Какую игру? — спросила Дана.

И я не знала. История оборвалась, как нитка. Арман сказал «слабенько, концовки нет». Я сказала, что концовка будет потом. И все почему-то перестали смеяться.

В половине первого Тимур ушёл «в туалет».

И вот здесь я должна сказать одну вещь, которую не сказала следователю. Потому что стыдно. Когда дверь за ним закрылась, Дана выдохнула. Я слышала этот выдох. Он был такой же, как у регистратора, когда он отдал мне ключ. Облегчение. Нет, даже больше — как будто она знала, что он уже не вернётся.

Я слишком хорошо знаю Дану. И поэтому я сразу выкинула эту мысль из головы. Она весь вечер сидела рядом со мной. Она никуда не выходила. Кроме тех пятнадцати минут, когда я ходила переодеваться. Но я же не знаю, что она делала эти пятнадцать минут. Правда?

В половине второго Дана спросила, где он. Ерлан написал. Одна серая галочка. Позвонил — «абонент недоступен». Арман сказал, что Тимур всегда уходит по-английски, и что он, наверное, уже спит у себя, то есть тут же, в триста двенадцатом. Мы все посмотрели на его кровать у окна. На ней лежала сумка. И всё.

— Ну значит у Ерлана спит, — сказал Арман. — Ерлан, у тебя открыто?

Ерлан покрутил на пальце кольцо от ключей. Помолчал.

— У меня ключи вечно пропадают, — сказал он. — Я рассеянный.

Мы разошлись в начале третьего. Нет, раньше — в два с чем-то. Я знаю, что там в моих показаниях везде разное время. Следователь мне это тоже говорил. Но честно, часы в этом отеле шли как хотели. Я помню, как мы с Даной шли по коридору, и она смеялась над Арманом, и как я думала: впервые за полгода она смеётся по-настоящему. Именно тогда, когда Тимур пропал.

У двери номера я достала ключ. Деревянная груша была тёплой. Замок поддался не сразу — как будто кто-то уже открывал его сегодня другим ключом и сбил ему настройки. Я не придала этому значения.

В номере было темно. Дверь ванной была прикрыта. Я помню, что оставляла её открытой. Но я не уверена. Я всегда во всём не уверена, что касается дверей.

Дана разделась в темноте и легла лицом к стене. Я села на свою кровать. На кровати у окна белела сложенная футболка. Рядом темнела моя — скомканная, с вином. Мне показалось, что белая лежит не так, как её положила Дана. Не сложенная вчетверо, а скомканная в горсти, как будто её кто-то брал в руки и подносил к лицу.

А может, мне показалось.

Я легла. И уснула, как провалилась, едва коснувшись подушки. Без снов. Без ничего. Так, как спят человека, которого выключили из розетки, чтобы включить другого.

Дальше не важно. Дальше я спала.

Глава 5. Арман

Видео длилось минуту и сорок семь секунд. Арман знал его наизусть, как дети знают наизусть любимый мультфильм. Первые восемь секунд — тёмный коридор дачи, его собственные носки в кадре, вспышка фонарика. С девятой по двадцать четвёртую — дверь спальни сестры, приоткрытая, и звуки из-за неё, которые он потом вырезал, когда скидывал в чат. Не потому, что стыдно. Просто там было слышно, как Дана говорит «не надо, пожалуйста, не надо», и с этим видео переставало быть смешным. А Арман снимал смешное. Он всегда снимал смешное.

А дальше была смешная часть. Дана вылетает из двери, растрёпанная, в одном ботинке, и на секунду — на одну только секунду — смотрит прямо в камеру. Потом бежит к лестнице. Потом Тимур в трусах, с расцарапанной шеей, орёт «да куда ты, дура», скачет на одной ноге, потому что запутался в спущенных джинсах. И сам Арман за кадром, захлёбывающийся от смеха. От этого смеха дрожит картинка.

В мужском чате видео набрало сорок две реакции. Потом кто-то переслал его в другой чат. Потом оно исчезло из виду — как исчезает всё, что уходит в интернет: не исчезает, а просто терпеливо ждёт.

В июне Арман написал Дане. Им давно было пора поговорить. У него был кредит за айфон, у её отца была сеть автосервисов, а у её отца были ещё и очень традиционные взгляды на то, что должна и чего не должна делать дочь на даче в час ночи. Арман не угрожал. Он просто прислал скриншот с кадром, где Дана смотрит в камеру, и написал: «у меня небольшие трудности, поможешь по-дружески?». Она скинула двести тысяч на Каспи через десять минут. В августе — ещё сто пятьдесят. В сентябре деньги у неё кончились, и Арман написал, что деньги — это не единственный способ помочь другу. Она не ответила. Она не отвечала неделю, и всю эту неделю Арману было легко и весело, как рыбаку, который знает, что рыба уже на крючке и торопиться некуда.

Потом она ответила одним словом: «после».

После чего, Арман не понял. А потом Ерлан предложил выезд в ноябре, и Арман решил, что понял.

Теперь он лежал в триста двенадцатом, один, и смотрел в потолок. Черная таблетка пожарной сигнализации без красного огонька смотрела на него в ответ. Все разошлись. Тимура не было. Сумка Тимура лежала на кровати у окна и пахла его дезодорантом. Арман знал, где Тимур. Историю с запасным ключом Тимур рассказал ему ещё в машине, шёпотом, на заправке под Капчагаем, пока девчонки были в туалете. И Арман сказал тогда: «Только телефон включи на запись, братан». И они оба заржали.

А потом в машине Тимур сказал «уважаю», и Арман случайно посмотрел на Лейлу. И перестал ржать.

Он не мог объяснить этого даже себе. Лейла не сделала ничего. Она даже не шевельнулась. Она сидела слева от него, и её колено три часа касалось его колена, и все три часа оно было холодным, как камень на реке. И в тот момент, когда Тимур сказал «уважаю», с её лица что-то ушло. Не выражение — наоборот, ушло всё, что там было человеческого, и осталось что-то гладкое и слепое, как лицо девочки из его страшилки. И повернулось к Тимуру. На одну секунду. А потом Лейла снова стала Лейлой и попросила воды.

Арман видел такое лицо один раз в жизни. В марте, в два часа ночи, на крыльце дачи. Тогда Лейла вышла из такси, посмотрела на Дану в одном ботинке, посмотрела на него с телефоном в руке — и ничего не сказала. Она даже не спросила, что случилось. Она всё знала и так. Она просто смотрела на его телефон. Долго. А потом сказала Дане единственную фразу — Арман её слышал, стоя в дверях:

«Хорошо. Никому не скажем».

И Арман тогда почему-то понял, что это было сказано не Дане. Это было сказано кому-то третьему. Кому-то внутри.

Всю ту ночь он просидел со светом. Потом три недели не мог спать без ночника, и мать над ним смеялась. Потом прошло. Арман умел, чтобы проходило.

Сейчас не проходило.

Он взял телефон. Сети не было. Вайфай писал «сеть не найдена». Часы показывали 2:58. Он открыл галерею — просто так, чтобы занять пальцы, и палец сам долистал до марта. Он всегда долистывал до марта. Он никогда не удалял это видео, хотя обещал Ерлану. Хотя даже сам понимал, что такие вещи нужно удалять.

Он нажал «плей».

Коридор дачи. Носки. Вспышка. Дверь. Всё как всегда. Дана вылетает, смотрит в камеру...

И не убегает.

На девятнадцатой секунде видео, там, где она всегда поворачивалась к лестнице, Дана осталась стоять. И смотреть в камеру. Двадцатая секунда. Двадцать первая. Таймлайн полз вперёд, а она стояла, и растрёпанные волосы не двигались, и грудь не двигалась, и только глаза — глаза были живые и медленно, очень медленно поднимались вверх по экрану, словно искали того, кто держит телефон. Не тогда. Сейчас.

Арман уронил телефон на грудь. Телефон был тёплый. Очень тёплый, как животное. Из динамика шло что-то, чего не было в видео. Не его смех. Тишина. Настоящая, плотная, как вата, и сквозь неё — капание. Медленное, ровное. Как капает с чего-то подвешенного.

Он перевернул телефон экраном вниз. Резко сел. Включил ночник. Ночник не включился. Он пощёлкал выключателем три раза, четыре, пять. Ничего. Лампа под абажуром была на месте, просто она не хотела гореть. В темноте телефон на одеяле светился по краям, как тлеющий уголь.

И из него, сквозь одеяло, тихо и отчётливо засмеялся Арман. Сам Арман. Мартовский. Захлёбываясь. И сказал своим собственным пьяным весёлым голосом то, чего Арман в марте не говорил:

«Давай, брат, давай, я снимаю, не останавливайся».

Арман сидел в темноте и слушал, как стучит сердце. Потому что он вспомнил. Он это говорил. Он просто вырезал это из видео. И из себя — тоже вырезал. А сейчас кто-то вставил обратно.

Он схватил телефон и начал тыкать в экран — стоп, стоп, удалить. Видео не останавливалось. Кнопка «удалить» была серой. На экране Дана медленно, словно преодолевая сопротивление плёнки, подняла руку и показала пальцем за спину Арману. Не тому, мартовскому. Этому.

В дверном проёме дачного коридора, за его спиной, там, где в марте было тёмное пятно лестничной площадки, стояла фигура. Тонкая. Чёрные волосы по плечи. Руки опущены. Лица было не разглядеть — видео в этом месте распадалось на квадратики, как при плохой связи. Она стояла там всегда? В марте? Арман смотрел это видео сто раз и ни разу её не видел. Или видел — и принимал за тень? Лейла ведь приехала в два. А видео снято в час сорок. Или он путает? Или это Дана — вторая, та, что стоит сзади и смотрит, как первая смотрит в камеру?

Видео кончилось. Экран погас. 3:14.

И в тишине, в полной тишине здания, где-то через коридор, в триста четырнадцатом, зашумела вода. Арман слышал её через трубы. Кран открыли на полную. Вода шла и шла, а потом резко остановилась. И началась снова. Кто-то наливал стакан за стаканом.

Арман встал. Надел куртку на голое тело. Вышел в коридор. Коридор был светлым, обычным, лампы гудели. Он подошёл к двери Ерлана и стучал, пока тот не открыл. Ерлан был одет.

Полностью. В джинсах и свитере, и за его спиной на кровати светился ноутбук, и на ноутбуке была открыта фотография старого белого джипа на парковке среди сосен.

— Тимура нет, — сказал Арман. — У нас не ночевал. И у тебя нет. Значит, он всё ещё там.

Ерлан не спросил «где там». Это Арман потом вспомнит, через сорок минут, вися на перилах лестничного колодца и пытаясь понять, кто из них знал больше всех. Ерлан просто прикрыл ноутбук и сказал:

— Напиши девчонкам.

Арман написал Дане. Сети не было, но сообщение ушло — сразу, с двумя галочками, а потом галочки стали синими. Прочитано. В три часа двадцать минут ночи. Как будто там тоже не спали.

Арман посмотрел вдоль коридора. И увидел, что дальняя лампа, у самого поворота к общему туалету, не горит. И что темнота там не однородная. В темноте кто-то сидел на полу, прислонившись к стене, как сидят пьяные на остановках.

И следующая лампа погасла. И ещё одна. И ещё. Темнота шла к ним по коридору, не торопясь, как регистратор, который вышел из-за стойки, чтобы проверить, все ли гости на местах.

Глава 6. Ерлан

Дядя Кайрат умер в девятнадцатом году, и все сказали — сердце. Ерлану тогда было девятнадцать, он помогал разбирать дядину квартиру в микрорайоне «Самал» и нашёл в антресоли коробку из-под принтера. В коробке были копии. Протоколы, схемы, фотографии, напечатанные на офисном принтере, потому они были серыми и зернистыми, и кровь на них была чёрной, как дёготь. И тетрадь в клетку, исписанная дядиным прямым милицейским почерком. На обложке было написано: «Б.С. 2016. Не закрыто».

Ерлан забрал коробку себе. Никому не сказал. Он вообще мало кому что говорил, и люди принимали это за ум. А это был не ум. Это была привычка, которую он вырастил в себе лет в десять, когда отец бил мать за стенкой, а Ерлан сидел в наушниках и делал уроки. Тихо сидеть и делать уроки. Не вмешиваться. Взрослые сами разберутся. Они и разбирались. Мать до сих пор носила водолазки летом.

Дело 2016 года Ерлан прочитал за одну ночь. Потом перечитывал ещё раз десять. Он знал его так, как другие знают любимый сериал.

Четверо погибших. Жанболат Сарсенов, 39 лет, предприниматель, Астана. Его нашли в бассейне отеля, который слили ещё в сентябре, — на дне пустого бассейна, и лёгкие у него были полны воды. Литры воды. И в желудке. И в кишечнике. Дядя Кайрат написал в тетради: «Утонул в сухом бассейне. По показаниям соседей по дому в Астане — систематически топил жену в ванной. Дважды вызов скорой, заявлений нет».

Двое друзей Сарсенова. Один в лифте. Другой в котельной. Фотографии Ерлан смотрел один раз и больше не смотрел. На полях дядя написал про обоих одно и то же: «Держали». И подчеркнул дважды. Ерлан долго не понимал, что это значит, пока не нашёл в протоколе свидетельские показания домработницы: жену Сарсенова в ванной держали не одними руками.

И четвёртый. Брат Сарсенова, Асхат, самый младший. Его нашли в номере целым. Без единой царапины. Он лежал на кровати с открытыми глазами, а на ушах у него были большие наушники, и в наушниках ничего не играло. Причина смерти — остановка сердца. Двадцать семь лет. Дядя Кайрат написал на полях: «Не держал. Слышал из соседней комнаты и сделал музыку громче».

Ерлан помнил, как прочёл эту строчку впервые. Он сидел в своей комнате в наушниках — по привычке, без музыки, просто чтобы что-то давило на уши. И он снял их. Впервые за много лет снял и положил на стол, как кладут оружие.

А жена Сарсенова выжила. Галия Сарсенова, в девичестве Ахметова, тридцать два года. Её нашли на трассе в сорока километрах от отеля, в белом «Ленд Крузере» с заглушенным мотором. Она сидела за рулём и пила воду из бутылки. На пассажирском сиденье лежали пустые бутылки, десять или пятнадцать. Она не отвечала на вопросы. На первом допросе она сказала только одну фразу, и дядя записал её в тетрадь большими буквами и обвёл в рамку:

«Я никого не трогала. Я только смотрела».

Потом её отправили на экспертизу. Потом — в психиатрическую больницу специализированного типа. Дело приостановили за невозможностью установить лицо. Потому что никто не может утопить мужчину в сухом бассейне. И никто не может раздавить человека стенами лифта с отключённым электричеством. А следов Галии не было нигде. Всё отмыто хлоркой.

Но были в тетради дяди Кайрата ещё две страницы, и именно они не давали Ерлану спать.

Первая — про ночного администратора. Ахметов Самат, 1961 г.р. Пропал в ту же ночь. В розыске. Не найден. Внизу дядя дописал другой ручкой, позже: «Дядя Галии по отцу. Она его знала. Он её слышал все годы, когда она маленькой жила у него в служебной комнате при отеле. Слышал и не слышал».

И вторая страница. На ней была приклеена маленькая фотография, сделанная, видимо, кем-то из оперативников на трассе: заднее стекло белого джипа, и за ним — размытое детское лицо, прижатое лбом к стеклу. Две тёмные косички. Под фотографией дядя написал:

«Дочь. 12 лет. Всю ночь в машине. Показаний не даёт. Передана биологическому отцу (брак не регистрирован), Алматы. Фамилия отцовская, данные отца — в закрытой части дела. Спросил, хочет ли пить. Выпила два литра».

И ниже, самая последняя строчка в тетради, неровная, написанная дрожащей рукой, похоже, уже незадолго до сердца:

«Место судит. А мы что тогда делаем?»

В марте Ерлан сидел на кухне дачи в Талгаре, когда наверху закричала Дана. Он слышал. Он достал из кармана наушники и поставил на музыку то, что играло последним. Потом вышел на крыльцо покурить и увидел Дану в одном ботинке. Она посмотрела на него так, как тонущие смотрят на берег. И он сказал ей, потому что так было правильно, потому что так сказала бы мать, потому что заявление уничтожит её, а не Тимура, сказал тихо и спокойно:

— Я ничего не видел. И тебе советую не видеть. Зачем парню жизнь ломать.

На следующий день он сказал Участковому, который заехал по звонку соседей про шум, что Тимур всю ночь был с ним на кухне. Участковый и не спрашивал. Ерлан сказал сам. На всякий случай. Так, как кладут соломку.

А потом прошло полгода, и Ерлан понял, что не может спать. Не из-за совести. Совесть у него была приучена с детства сидеть в наушниках. Из-за второй строчки в протоколе про Асхата. Из-за наушников, в которых ничего не играло. Из-за надписи на полях: «Не держал. Слышал».

И ещё из-за одной случайности. В сентябре он помогал Дане и Лейле заполнять какую-то анкету на стажировку — он лучше всех знал все эти госпорталы. В Лейлиной анкете в графе «мать» было коротко: «Нурланова Г.». Без отчества. А когда он дошёл до той же графы в анкете Даны, Дана вдруг забрала у него ноутбук и сказала, что дальше сама. Графу она так и оставила пустой — Ерлан потом видел распечатку. Ерлан не спросил. Он никогда не спрашивал. Он просто пришёл домой и достал коробку из-под принтера.

Г. — это Галия? Гульнара? Гаухар? А пустая графа — это что?

В Алматы тысяча женщин на букву «Г» и тысяча девочек, которые не вписывают мать в анкету. Ерлан сказал себе это вслух, дважды. И всё равно в октябре, когда Тимур сказал про «недоеденную еду», Ерлан открыл навигатор и вбил туда не Бурабай и не Боровое. Он вбил координаты из дядиной тетради.

Он сам не знал, зачем. То есть знал, но не говорил себе прямо. Это была как бы проверка. Если отель — просто заброшка, то ничего не случится. Они приедут, увидят выбитые окна, посмеются, что Ерлан лох, и поедут в гостиницу на трассе. А если нет...

Если нет — то место рассудит. А он тут ни при чём. Он просто отдал ключ.

Бронь он делать не стал. Делать было негде. Он сделал скриншот чужой брони с другого отеля, поменял название в фотошопе и кинул в чат «будем как короли». А запасной ключ от триста четырнадцатого, который он отдал Тимуру... ключ лежал в дядиной коробке, на самом дне, в запайке для вещдоков. Латунный. С деревянной грушей. Пришитый к делу как вещдок № 7: «ключ от номера, изъят у Сарсеновой Г.». Дядя зачем-то унёс его домой.

Ерлан думал об этом, когда фары выхватили из темноты указатель с сосной. Он ждал темноты и выбитых стёкол. А увидел свет во всех окнах. У него так сильно задрожали руки, что ему пришлось сжать руль до белых костяшек. И он посмотрел в зеркало — на Дану, а потом на Лейлу. И Лейла отвернулась.

Когда регистратор в зелёном жилете поднял на него глаза и спросил, на чьё имя бронь, Ерлан узнал его сразу. С фотографии в ориентировке. Ахметов Самат, 1961 г.р., в розыске десять лет. Тот же жилет. Та же причёска. Ни на день не постаревший.

И Ерлан произнёс свою фамилию ровным голосом. Он ничего не сказал остальным. Он никогда ничего не говорил. Взрослые сами разберутся.

Весь вечер он смотрел на троих: на Тимура, на Дану и на Лейлу. Когда Лейла вернулась из номера переодетая, от неё пахло водой из-под крана. Когда она рассказывала страшилку про регистратора, Ерлан сидел, сжав в кармане телефон, на котором была сфотографирована каждая страница дядиной тетради. Она рассказывала правду. Точно так, как в тетради. И даже то, чего в тетради не было.

А на Дану он смотрел из-за её руки, сжатой в кулак. Из-за того, как она выдохнула, когда Тимур вышел. Из-за того, что на слово «следователь» в её голосе сначала мелькнула надежда, а потом — что-то твёрдое, решённое. Как у человека, который устал ждать, что за него сделают.

Ерлан не знал, которая из них. В этом была вся беда. Дядя написал «дочь», а фотография была размытая, и у обеих в детстве были косички, он видел старые фотки в инстаграме, и обе были в ноябре шестнадцатого года в том самом возрасте. А Дана никогда не рассказывала про то время, и отец у неё был слишком строгим, слишком тихим, слишком много заботился о том, чтобы никто ничего не узнал. И ещё за весь вечер Дана не выпила ни глотка. Ни вина, ни воды. Совсем. Как будто знала, что тот, кто начинает пить в этом здании, уже не может остановиться.

В три часа ночи Ерлан сидел на кровати одетый и смотрел на ноутбуке фотографию белого джипа. Увеличивал детское лицо до тех пор, пока оно не распадалось на квадраты. Уменьшал. Снова увеличивал. Квадраты не давали ответа.

А потом он услышал, как в соседнем номере, пустом номере, который никто не занимал, кто-то включил музыку. Громко. Старую сериальную песню нулевых, ту, что крутили по телевизору во время его детства, когда отец бил мать. И сквозь музыку, где-то далеко, кто-то кричал. Женский голос. Очень знакомый.

Ерлан по привычке потянулся к наушникам.

И остановил руку.

В дверь постучал Арман.

Глава 7. Дана

Из тетради в клетку, найденной в комнате Даны Сейткали. Записи без дат. Почерк меняется от страницы к странице.

Психолог сказала писать. Не для неё, для меня. Что бумага выдержит. Что не обязательно по порядку. Хорошо. Я не по порядку.

Я не спала ту ночь. Лейла всем говорит, что я спала, лицом к стене. Лицом к стене — да. Спала — нет. С марта я не сплю в чужих местах. Я лежу и слушаю. Я стала очень хорошо слышать. Я слышу, как кто-то в коридоре переносит вес с ноги на ногу. Я слышу, как дерево двери набухает от тепла. Я слышу даже, как думает человек, который стоит за дверью. Такой звук, как когда дышат слишком ровно.

В тот вечер в ванной кто-то дышал слишком ровно.

Я услышала это, как только мы вошли. Лейла не слышала. Она сидела на своей кровати и смотрела на мою футболку. Долго. А потом легла и сразу заснула. Сразу. У неё никогда так не было. Она всегда вертится до четырёх, а потом идёт пить. А тут — как выключили.

Я лежала и думала: это он.

Я знала, что это он, с той секунды, как он сказал «в туалет». Я знаю его голос, когда он врёт. У него тогда на даче был такой же голос, когда он сказал Арману «сейчас приду». И когда он вышел, я выдохнула. Лейла думает, что от облегчения. Я видела, как она на меня посмотрела. Нет. Я выдохнула, потому что поняла: всё, вот оно. Сегодня. Не сегодня — это на футболке. А в жизни — сегодня.

Мне надо написать про нож. Психолог сказала, что если не напишу — он будет сидеть внутри.

У меня был нож. Складной, с чёрной ручкой, папин, из бардачка. Я взяла его с собой. Он лежал в кармане толстовки, весь вечер, и я держала руку на нём, когда Тимур сидел рядом. На ладони потом остались следы от ногтей, но это не от ножа. Это от того, что я не достала нож. Две разные вещи.

Я взяла нож не для него. Я хочу, чтобы это было написано. Я взяла его, чтобы если всё повторится, не дожить до утра с этим. Психолог после этого сеанса долго звонила папе. Папа забрал у меня все режущие предметы и теперь сидит по ночам в коридоре на стуле. Думает, я не слышу. Я слышу всё. Я же написала.

Сейчас не хочу. Хочу, чтобы всё кончилось, но по-другому. Это тоже написано. Хорошо.

Ладно. Ночь.

Я лежала лицом к стене и слушала, как он дышит в ванной. Ровно, как на рыбалке. Он любит рассказывать про рыбалку с отцом. Я держала нож под подушкой, уже раскрытый. Я ждала, когда он выйдет. У меня был план. Я не буду его писать, потому что он не пригодился.

Потому что когда он встал с края ванны — я услышала скрип эмали — скрипнула и другая кровать.

Лейлина.

Я не повернулась. Я не знаю, почему. Нет, знаю. Потому что шаги были не её. Я знаю её шаги с первого класса, она ходит чуть внутрь носками и часто, как воробей. А эти шаги были медленные. Тяжёлые. Пол под ними прогибался, как будто по номеру шло что-то, что весит больше человека. Как будто по номеру шёл весь отель.

И стало очень холодно. И запахло хлоркой.

Шаги остановились у моей кровати. У края, где лежала моя футболка. Я слышала, как её взяли. Шорох хлопка. Как её надели — я слышала, как ткань прошла по волосам. По длинным волосам.

А потом что-то наклонилось надо мной. Я чувствовала его дыхание на ухе. Оно было холодное. И что-то сказало мне в самое ухо, очень нежно:

«Ты свидетель. Смотри».

Я не знаю, чей это был голос. Я думала про это все эти месяцы. Он был женский. Он был знакомый. Он был похож на мой. Он был похож на голос моей матери, которую я не слышала с четырёх лет. Он был похож на меня, когда я читаю вслух эту тетрадь. Я не знаю.

Психолог спрашивает: ты смотрела? Я говорю: я слушала. Она говорит: это не ответ. Я говорю: да.

Шаги ушли к ванной. Дверь открылась внутрь. Тимур сказал моё имя. Вопросительно. Так, как говорят со ступеньки в темноту, когда не знают, есть ли там ещё ступенька. И дверь закрылась.

А потом начались звуки.

Я не буду писать звуки.

Нет. Психолог сказала. Один.

Хруст. Как когда выворачивают сырую курицу из сустава. И после этого — ничего, тишина, и в тишине кто-то жуёт. Медленно. Долго. Старательно, как жуют дети, когда им сказали, что не выйдут из-за стола, пока не доедят.

И чей-то голос считал. Ровно. Один. Два. Три. Сорок три. Сорок четыре. Я потом поняла, что считали не секунды. Считали суставы. В человеке двести с чем-то суставов. Я потом посмотрела в интернете.

Досчитали до конца.

Я встала. Я хочу, чтобы это тоже было написано. Я встала с ножом в руке и пошла к ванной. Лейлина кровать была пустая. Я положила руку на дверь, чтобы открыть, и дверь была липкая. Вся. И ручка. Пальцы прилипли. Из-под двери текло на мои босые ноги что-то тёплое. По стыкам плитки. Аккуратно.

Я открыла дверь.

(Далее в тетради вырваны четыре листа. Края вырванных страниц неровные, вырваны руками. Следующая запись сделана другой ручкой — красной.)

Я помыла голову в раковине на кухне. Холодной водой. Потому что в волосах было. Потом легла лицом к стене. Ножа у меня больше не было. Я не помню, где он. Его так и не нашли. Следователь спрашивал про нож три раза. Про нож ему рассказал папа: в бардачке его не стало.

И ещё. Когда я легла, Лейла уже была в своей кровати. Спала. Как будто никуда не вставала. А моя футболка лежала на краю моей кровати, сложенная вчетверо. Ровно так, как я её сложила. Только мокрая. И пахла хлоркой.

В три часа четырнадцать Лейла встала попить. Я слышала, как она наливает стакан за стаканом. Шаги были её. Частые, внутрь носками. Воробей.

А в три двадцать написал Арман.

Я хочу написать одну вещь, которую не сказала никому. Ни психологу, ни следователю.

Мне было хорошо.

В ту ночь, лёжа с мокрыми волосами лицом к стене, я первый раз с марта не боялась. Это самое страшное, что я когда-либо писала. Страшнее, чем про нож.

Психолог спросит: а потом?

Потом была игра.

Часть II
Игра

Глава 8. Лейла

Я проснулась от жажды.

Я пишу эту фразу и вижу, как следователь Бекетов подчёркивает её дважды. Он всё подчёркивал дважды, что касалось воды. Но это правда. Я хочу пить постоянно, сколько себя помню. В детстве меня даже проверяли на диабет. Ничего не нашли. Врач сказала папе, что так бывает при стрессе, и папа на неё так посмотрел, что она больше ничего не сказала.

На телефоне было 3:14. Дана лежала лицом к стене, свернувшись, и подушка под её головой темнела мокрым пятном. Волосы у неё были мокрые, тяжёлые, прилипшие к шее. Я подумала: зачем мыть голову в три часа ночи. Я ведь не слышала воды. Я спала так, как не спала никогда.

Я встала. Пол был холодный. Ступни — грязные, липкие, будто я ходила босиком по террасе летнего кафе, где пролили лимонад. Я не стала смотреть вниз. Я знаю, как это звучит. Но человек в три часа ночи не рассматривает свои ноги. Человек в три часа ночи идёт пить.

Вода из крана пошла сначала рыжая, густая, с какими-то нитками, потом прозрачная. Я дала ей стечь. В раковине сидели длинные чёрные волосы — их было много, комком, и на них что-то тёмное. Данины. У меня тоже чёрные длинные, но у меня сухие. Я проверила. Я смыла комок водой в слив. Я не знаю, зачем я это сделала. Это было первое, что я сделала той ночью для неё. Первое из многого.

Следователь спрашивал про раковину. Я сказала, что ничего там не было. Это была неправда. Зато она была за Дану.

Я выпила три стакана. Не помогло.

И тогда увидела дверь ванной. Не прямо — краем глаза, в синем свете фонаря из окна. Из-под двери на плитку текло. Густое, чёрное в темноте и красное там, где ложился свет. Оно текло не лужей. Оно текло по стыкам, ровно, как по чертежу, расчерчивая пол на клетки, как тетрадь.

На ручке двери был отпечаток ладони. Узкой, женской. Четыре пальца и край ладони, правая рука. Дана правша. Я левша. Это я тоже сказала следователю, хотя он не спрашивал. Потом я поняла, что этого говорить не надо было. Но слова иногда говорят себя сами.

Я моргнула.

Ничего. Белая дверь, сухая плитка. Чистая ручка. И запах хлорки — такой сильный, что защипало в глазах.

У меня есть одна вещь, которую я всегда делаю, когда мне что-то кажется. Я произношу вслух три настоящие вещи. Так научила меня мамина врач, когда мне было тринадцать и меня привезли к ней на свидание в первый раз. Врач сказала: если тебе что-то покажется, как маме, скажи три настоящие вещи. Я не поняла тогда, почему «как маме».

— Стакан, — сказала я шёпотом. — Раковина. Дана.

И Дана села на кровати.

Она села сразу, резко, как садятся люди, которые не спали. В руке у неё был телефон. Экран светился синим и делал её лицо чужим, как на фотографии в документах.

— Арман пишет, — сказала она. Голос был ровный. Не сонный. — Тимура нет в номере. И не было. Они с Ерланом в коридоре.

— У тебя волосы мокрые, — сказала я.

Она потрогала волосы рукой. Посмотрела на пальцы. Потом на меня. И в этом взгляде было что-то, что я сначала приняла за страх. А теперь думаю, что это была жалость. Так смотрят на человека, который не знает, что он уже в больнице.

— Я умывалась, — сказала она. — Мне приснилось.

— Что?

Она не ответила. Она встала, надела свою серую толстовку и застегнула молнию до горла. На краю её кровати лежала её белая футболка, сложенная вчетверо. Она посмотрела на неё так, как смотрят на спящую змею, и не тронула.

У меня снова пересохло в горле. Я выпила четвёртый стакан.

— Пошли, — сказала я.

Мы вышли. Парни стояли у двери Ерлана. Арман — в трусах и куртке на голое тело, с телефоном в руке, как с оружием. Ерлан — в джинсах и свитере, полностью одетый, как будто он и не ложился. Он сразу посмотрел на нас. На мокрые волосы Даны. Потом на мои босые ноги. И снова на Дану. И лицо у него было такое, как у человека, который сдал экзамен и теперь боится узнать оценку.

— Ты что, молилась? — спросил у Даны Арман и нервно хмыкнул.

Дана посмотрела на него. Очень долго. Она смотрела на его телефон. И Арман спрятал телефон в карман куртки, и перестал хмыкать, и сделал шаг назад. От Даны. Я никогда не видела, чтобы Арман делал шаг назад от девушки.

А в конце коридора, у самого поворота, не горела лампа.

И в той темноте что-то было.

Я сделала шаг туда. И лампа над моей головой погасла. И следующая. И все остальные — одна за другой, до самого лифта, как будто кто-то шёл следом за мной и выключал свет в комнатах, из которых уже все ушли.

Или не за мной. Или передо мной.

Я не знаю, почему я пошла первой. Ерлан потом, в лифте, скажет мне одну фразу, и я её не дослушаю. У меня в памяти она обрывается на половине. А в коридоре я просто шла, и ступни липли к полу, и передо мной из темноты выступали края вещей, как выступают камни на мелеющей реке.

И тогда зазвучал голос.

Глава 9. Бекетов

Нуржана Бекетова подняли в пять сорок. В семь двадцать он стоял на парковке перед «Белой сосной» с картонным стаканчиком кофе с заправки и смотрел на здание, которое знал по фотографиям десятилетней давности. В шестнадцатом он был стажёром у старшего следователя Абдрахманова и возил за ним папки. Кайрат Асанович называл его «бола», угощал чаем из термоса и ни разу не взял его внутрь. «Тебе ещё жениться, — сказал он тогда, — а там такое, что невеста потом уйдёт». Нуржан женился. Жена ушла через семь лет, забрав дочь. Без всяких отелей. Так что Кайрат Асанович ошибся дважды.

Теперь его взяли внутрь.

Здание было точно таким, каким он помнил его по фотографиям, только десять лет спустя из него вынули глаза. Стёкол в окнах почти не осталось. Козырёк над входом провис, стекло из него хрустело под ногами зелёным и синим крошевом. На стене слева от дверей кто-то большими красными буквами из баллончика написал «ЗДЕСЬ НИКОГО НЕТ», а другой кто-то, чёрным, дописал снизу: «ВРЁШЬ». На указателе у дороги — он специально остановился посмотреть — было то же слово, тем же маркером, тем же почерком: «НЕ ПЕЙ».

Эксперт Индира Сериковна вышла ему навстречу в прозрачном комбинезоне, сняла маску и долго дышала ноябрём, как будто только что вынырнула. Индире Сериковне было пятьдесят три года, она видела последствия авиакатастрофы, и Бекетов ни разу не видел, чтобы она так дышала.

— С какого начнёшь? — спросила она.

— С первого.

— Первого не бывает, Нуржан, — сказала она. — У нас тут четыре тела, и три из них умерли в одну ночь, а четвёртое лежит тут дольше, чем ты разведён. Начни с стойки. Она возле входа, тебе будет проще.

Холл был пустым и серым. Пол — вздутый линолеум в разводах, никакого красного дерева. Люстра лежала на полу в центре холла, каркасом вверх, как перевёрнутый жук. Из двенадцати плафонов целых осталось шесть, через один. Гобелена на стене не было. Был светлый прямоугольник на обоях и два гвоздя. И в левом нижнем углу прямоугольника кто-то выцарапал на штукатурке два маленьких кружка. Как глаза.

Стойка была цела. Деревянная, потемневшая, с белёсыми кругами от чашек. На стойке лежала книга — не остатки книги, а целая толстая книга регистрации в бордовом переплёте, сухая, будто её не касались десять зим и десять летних ливней сквозь дырявую крышу. И рядом, сложенный вчетверо, по-армейски, тёмно-зелёный жилет с латунными пуговицами. Аккуратно. Как на прилавке в магазине.

За стойкой, на полу, в позе спящего ребёнка лежал то, что когда-то было человеком. Кожа на лице присохла к костям, как пергамент к раме. Губы стянулись, открыв зубы в подобии улыбки. Седые волосы, зачёсанные назад так гладко, что видны бороздки от расчёски. Белая рубашка стала жёлтой и прикипела к рёбрам. Руки лежали на груди, сжатые, будто что-то держали. В руках ничего не было.

— Мумификация, — сказала Индира Сериковна ему в спину. — Полная. Сухо, сквозняк, низкая влажность под стойкой. Такое бывает, в принципе. Не меньше месяца. Не больше... не знаю. Годы. Может быть, годы. Он не сгнил, Нуржан, он высох. Как будто из него выпили всю воду.

Бекетов смотрел на бейдж на том, что осталось от лацкана. Одна буква. «С». Он знал этот бейдж. Он видел его в папке, которую десять лет назад возил за Кайратом Асановичем, на фотографии для ориентировки. Верхняя строчка: «АХМЕТОВ САМАТ — ночной администратор». Разыскивается с ноября две тысячи шестнадцатого.

Здание прочёсывали в том же ноябре. Дважды. С собаками. Под стойку заглядывали. Бекетов помнил это, потому что второй раз он сам держал фонарик.

— Дальше, — сказал он.

Третий этаж. Коридор с вывернутыми проводами и серыми листами обоев, свисающими как кожа. Дорожка свернулась в серые струпья. И на паркете, под струпьями, просто и отчётливо, как на свежем снегу, шли следы босых ног. Две пары маленьких ступней и две пары больших в обуви. И ещё одна цепочка. Ступни маленькие, босые, но след в пыли глубокий, вдавленный, словно по коридору шла девочка весом с взрослого мужчину.

За поворотом к общему туалету сидел первый.

Жаксыбеков Тимур Маратович, двадцать четыре года. Бекетов потом перечитывал заключение Индиры Сериковны трижды, и каждый раз у него в голове останавливался двигатель, что составляет слова в предложения, и оставались только отдельные слова.

Тело сидело, прислонённое к стене. Точнее — было усажено. Потому что сидеть само оно уже не могло: в нём не осталось ни одного целого сустава. Все суставные сумки были вскрыты изнутри — изнутри, подчеркнула она, — не разрезаны, не вывернуты, а разомкнуты, словно каждую кость мягко отделили от соседней и положили обратно в то же самое место. Тело держалось формы только на коже и на одежде. Когда его попытались сдвинуть, чтобы уложить на носилки, оно потекло, как мешок с мокрым песком. Индира Сериковна насчитала двести двадцать четыре разъединённых сочленения и перестала считать. Раны на коже отсутствовали. При этом кровь была везде. Она вышла через нос, рот, уши, глаза. И через одно единственное место, где рана была.

Мошонка и мошонка были отделены. Не отрезаны. Индира Сериковна полчаса не могла подобрать слово для протокола и наконец написала: «отделены путём тракции с последующим перекручиванием». Вырваны. Выкручены, как лампочка из патрона. Под ногтями обеих рук Жаксыбекова были его собственные ткани. Все отпечатки на ране были его. Только его.

Отделённое не нашли ни на месте, ни в триста четырнадцатом, куда вели кровавые следы. Нашли на вскрытии. В желудке.

Непереваренный фрагмент, сказала Индира Сериковна, и на этом слове голос у неё впервые за двадцать лет стажа на мгновение осел. Следы зубов — его. Проглочено при жизни. И ещё в желудке была вода. Очень много воды. Хлорированной.

Бекетов стоял над телом и смотрел в открытые глаза. Глаза были в крови, но в них осталось выражение, которое он не смог бы записать ни в один протокол. Не ужас. Ужас он видел. Это было что-то вроде понимания. Так смотрят люди, которым наконец объяснили задачу, над которой они бились годами.

И ещё одна деталь. На шее Жаксыбекова, ниже левого уха, были три свежие параллельные царапины. Неглубокие. Женские — так сказала Индира Сериковна, потому что по ширине они укладывались в женские ногти. При этом под царапинами не оказалось никаких чужих тканей. Как будто они появились сами.

Второго нашли в лестничном колодце.

Касымов Арман Сергеевич, двадцать три года. Вернее, его нашли на пяти лестничных площадках и на дне подвала. На каждом пролёте старые чугунные перила с витыми стойками оставили себе по части. Пятый этаж — кисти обеих рук, всё ещё сжатые на перилах. Четвёртый — предплечья. Третий — стопы, в кроссовках. Второй — нижняя челюсть. Первый — всё остальное, кроме головы. Голова лежала внизу, в подвале, в сухой луже старой извести, лицом вверх. И глаз у неё не было.

Глаза нашли потом. Они лежали на экране его телефона, который лежал рядом с головой. Аккуратно, рядом, зрачками к стеклу. Как будто смотрели видео. Телефон был цел, заряд — три процента. На экране стояло на паузе видео, снятое в марте на даче в Талгаре. Бекетов тогда

ещё не знал, что на нём. Узнал в тот же день, в машине, посмотрев минуту сорок семь секунд. Потом он долго сидел и смотрел на руль. У него была дочь. Четырнадцать лет.

Под ногтями тех самых кистей на перилах пятого этажа Индира Сериковна нашла длинный чёрный волос. Женский. С луковицей. И клочок серого трикотажа с ворсом — такой бывает на изнанке толстовок.

Третьего не нашли.

То есть нашли не всего. Абдрахманов Ерлан Муратович, двадцать шесть лет. Кабина лифта застряла между вторым и третьим этажом. Двери были приоткрыты на ладонь. Из щели торчала правая рука до плеча, с часами на запястье, и часы ещё шли. А в кабине, когда её спустили лебёдкой и вскрыли, была сплошная тёмная плёнка на стенах, полу и потолке, слой в палец толщиной, и больше ничего. Ни костей. Ни одежды. Кабина была размером метр на метр двадцать. По начальным обмерам кабины. Сейчас она была сорок на пятьдесят сантиметров. Стальные стенки не были смяты. Они были просто ближе друг к другу.

Индира Сериковна сказала, что по одной руке и слою на стенах она не подпишет ничего, пока не придёт ДНК. Что руку можно потерять и остаться живым. Что часы можно снять с одного человека и надеть на другого. Что человек, который сделал фальшивую бронь и привёз четверых людей в заброшенный отель, мог придумать и не такое.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.